

В. А. СОЛЛОГУБ



ИЗБРАННАЯ
ПРОЗА

Владимир Александрович Соллогуб

Собачка[1]

Теменевская ярмарка. Эпизод первый

(Посвящено М. С. Щепкину)

В начале нынешнего столетия, то есть лет сорок назад, Теменевская ярмарка славилась в целой России; на ней совершались торговые обороты многих губерний и решались нередко важные экономические вопросы. Тут устанавливались цены на хлеб, на шерсть, на пеньку, на все, чем промышляет русский помещик.

Тут помещик встречался с своим вечным соперником — купцом, и завязывалась между ними дипломатическая борьба, которая обыкновенно оканчивалась тем, что один непременно поддевал другого. Оттого помещики и готовились к ярмарке за полгода вперед, прикидывая на счетах предполагаемые барыши. Жены их, с своей стороны, заготавливали наряды для предстоящих редутов, собраний и визитов, после которых привозился домой годовой запас сплетней и болтовни. Наконец, румяные дочки рассчитывали, сколько остается им дней до той блаженной минуты, когда придется им прогуливаться по рядам, быть может, задеть сердце какогонибудь пылкого корнета, быть может, самим лишиться тяготящего девичьего спокойствия.

Как бы то ни было, а 17 августа 1804 г. за два дня перед открытием ярмарки, въехала в уездный город Теменев довольно странная процессия. Впереди красовалась, запряженная пегими клячами, какая-то еле дышащая бричка в виде подержанной римской колесницы.

В ней сидело два человека: первый, чрезмерно бледный и худощавый, наружности важной и даже немного грозной, родом немец, именем Адам Адамыч Шрейн, званием балетмейстер, а в случае надобности и танцор; второй — румяный, веселый, с вздернутым козырьком картуза, что служило у него признаком приятного расположения духа. Званием был он трагический актер, оперный певец и первый комик, именем Осип Викентьевич Поченовский.

Оба были не что иное, как директора, режиссеры и антрепренеры теменевского театра, разумеется, только на время ярмарки, потому что по миновании этого блистательного времени город Теменев становился тих и безлюден, как бы после нашествия неприятеля. Лавки запирались до будущей ярмарки. Дома, некогда кипевшие жизнью, начиненные помещиками с женами, детьми и оборванной челядью, дворы, заставленные бричками и тарантасами, вдруг до того становились пусты и безлюдны, что внушали невольный ужас. Ставни в окнах на улице заколачивались наглухо, хозяева помещались в какой-нибудь светелке на чердаке в ожидании той счастливой эпохи, когда снова брички и тарантасы остановятся у их ворот и привезут годовой доход за недельный постой. В целом городе водворялась тишина мертвая, и лишь изредка промелькивали на дрожащих тротуарах бабы в сапогах да раздавался по опустевшим улицам стук городнических дрожек.

Надо заметить, что теменевский городничий только на время ярмарки удостоивался звания полицеймейстера, что по тогдашним понятиям было как-то благозвучнее и внушало более страха. В мирное же время городничий оставался просто городничим, то есть скромным помещиком уездного городка, жил себе безмятежно в кругу семейства, занимался воспитанием детей, читал газеты да в праздничные дни кормил на убой всех городских чиновников.

Такая общая тихая дремота вдруг прерывалась в августе месяце каждого года. Тогда город Теменев вдруг просыпался, оживлялся и преображался совершенно. Не только все лавки гостиного двора наполнялись товарами и не было прохода по рядам от толпы покупателей и зевак, но еще и на всех площадках внутри города и вокруг целого города наскоро сколачивались из досок целые ряды шалашей под свежую крышей ветвистых берез.

Солнце играло весело на трепещущих изумрудных листьях; легкий ветерок приятно колыхал их над головами проходящих, и тут назначалось щегольское сборище приезжих аристократов. Целые вереницы пестрых барышень мелькали по зеленым переулкам, поглядывая исподлобья на молодых офицеров. Толстые барыни упорно торговались с купцами; помещики пили шампанское у старой француженки, торгующей в то же время и модами и вином. Все было живо и живописно. У заставы красовалась конная с табунами, ремонтерами [2], барышниками и помещиками особого рода, которые отличаются венгерками, усами, ухарскими фуражками и коротенькими бичами с свистком. По всему городу обнаруживалось внезапно столько харчевень и трактирных заведений, что и счета им не имелось. Не было только гостиницы для приезжающих; но так как городские мещане сами занимались гостеприимством, то подобный недостаток был вовсе неощутителен. Главная площадь Теменева вдруг украшалась разными балаганами различных окружностей, с флюгерами и огромными вывесками. В одном из них происходило конное ристалище и пляска на канате, в другом необычайный силач держал в зубах пудовые гири, маленьких детей вверх ногами и потом ел хлопчатую бумагу и извергал пламя. Показывали тут тоже разные вертепы и панорамы, изображающие, между прочим, землетрясение Лиссабона и долину Шамуни[3]. Недалеко от площади поселились два враждовавшие цыганские табора и такие увеселительные заведения, о которых упоминать не следует. Наконец, на большом сарае, служившем обыкновенно складочным амбаром для муки, прибывалась огромная черная доска с наклоненными белыми буквами, изображающими магическое слово: «Театр». Слово это, как известно, слово заманчивое, искусительное для русского человека, у которого лишний рубль в кармане. Теменевский театр славился в целом околотке благодаря неусыпному попечению своих режиссеров Шрейна и Поченовского.

Дворяне и купцы, окончив дневные сделки и раздоры, посещали спектакль с большим удовольствием; хлопали, вызывали, судили, рядили, разделялись на партии, причем, разумеется, сбор был всегда блистательный. А когда публика довольна, а в особенности касса полна, то и режиссерам и приятно и выгодно.

Вот отчего картуз сидевшего в бричке первого комика, трагика и певца был вздернут почти в перпендикулярном направлении. Картуз этот был известен целой труппе и служил ей даже термометром для узнавания начальнических чувств. Когда картуз находился в нормальном положении, это означало, что все идет своим порядком, денег очень мало, душа ничем не взволнована; когда же картуз закидывался к затылку, то между актерами водворялась общая радость: каждый уже знал, что деньги есть, что жалованье получить можно, что Осип Викентьевич счастлив в супружестве и вполне наслаждается жизнью. Но если, паче чаяния, картуз вдруг нахлобучивался на глаза, то уж всякому становилось грустно: о жалованье никто и думать не смел; всякому было известно, что в кассе нет ни гроша и что в супружеских отношениях свирепствовал раздор.

Итак, неудивительно, что перед открытием ярмарки, которая доставляла труппе самую значительную часть годового дохода, картуз Осипа Викентьевича находился в самом радостном направлении.

Товарищ Осипа Викентьевича, человек характера солидного, немец с ног до головы, был совершенно противоположного свойства. Он почитал унижительным для человеческого достоинства обнаруживать какими-либо наружными знаками внутренние свои чувства. Вид его был всегда строг и важен. В зубах держал он эластический чубучок, на который вдета была известной всем немцам формы фарфоровая трубка с миньютюрным изображением

прусского короля Фридриха II.[4]

— Перекитес, — сказал он вдруг своему спутнику, — фи мощно фаша картуза потеряфать.

— Ничего, — отвечал ему товарищ с сильным польским произношением, — другой зараз скупим. Ярмарка в сем году, я слышал, будет отличная. А у нас еще балет, чего не было прежде. Придется старику поплясать, да зато копейку зашибем... Зашибем, что ли?.. А?.. — Тут поляк, как человек веселый, потрепал немца по брюху. Это немцу не понравилось; он вообще не позволял с собой никакой фамильярности и не любил дружеских прикосновений.

— Конец, — сказал он протяжно, — обфеншифифает тело... Мошет пыть упыток достанем.

— Ничего, — отвечал поляк. — Мне Федор Иванович городничий, добрый приятель... такой приятель... что уж... ну, просто приятель... И долг заплатим и людей своих рассчитаем, да и сами еще разделим какой-нибудь этакой куш — а?..

За бричкой, вмещающей двух оригиналов, тянулась огромная фура, заложенная двумя волами и вся наваленная декорациями, изображающими леса, храмы, комнаты, к сожалению, во многих местах до того размытыми дождем, что иной лес походил на комнату, а иная комната — на лес. Волами правил семидесятилетний парикмахер труппы, обучавшийся некогда своему искусству в Петербурге у камердинера датского посланника.

Этот парикмахер исполнял в случае надобности и роль актера с речами или без речей, как случалось; но играть он не любил, потому что оно мешало ему восхищаться взбитыми им тупеями. Во все продолжение спектакля он обыкновенно глядел из-за кулис на свои произведения с каким-то родительским удовольствием и, не слушая ни одного слова из пьесы, следил с трепетным вниманием за всеми движениями актера: не сомнет ли он завитый с любовью локон, не расстроит ли он неосторожно стройную гармонию парика. И теперь он никому не позволил даже везти свои сокровища: «Неравно неосторожно опрокинут», — сказал он и сам важно влез на козлы.

Немного еще повыше, на месте, нарочно для нее устроенном, сидела молодая недурная женщина с большими черными глазами, очевидно первая любовница и примадонна странствующей труппы. В наряде ее была заметна некоторая изысканность: шляпка ее, хотя совершенно полинялая, была ей к лицу; с плеч ее спускалась пестрая шаль, а на коленях держала она с трогательною нежностью одну из тех болонок, которые тогда были в большой моде, а ныне, к счастью, совершенно выводятся. Впрочем, собачка длинной своей шерстью, сердитой мордой, нечесаной гривой, падающей на глаза, и в особенности малым ростом, могла действительно почитаться редкостью.

Примадонна, супруга Осипа Викентьевича, женщина бойкая и своенравная, была совершенно без ума от Амишки, так что в труппе уважали собачонку не менее самого Поченовского. Злые языки утверждали, что Амишка была залогом самых нежных воспоминаний, что она получена была в подарок от какого-то офицера, при одном имени которого картуз Поченовского шевелился на его голове и падал прямо на брови. Несмотря на то, Поченовский, испытав силу воли и твердость характера своей нежной половины, был в полном ее повиновении, а актеры, нуждающиеся вечно в деньгах, наперерыв ласкали Амишку, кормили ее сахаром, гладили и даже приятно смеялись, когда она кусала им пальцы.

Посреди декораций и разных коробов, заключавших достояние и гардероб театрального общества, ежились кое-как еще три женщины: одна удивительно толстая и старая, в душегрейке, с повязанным на голове платком, исполнявшая преимущественно роли испанских королев; другие обе, также одетые по русскому мещанскому обычаю, были не что иное, как первая певица, выключенная из московского хора за негодность, и первая танцовщица, во время оно танцевавшая изрядно до тех пор, пока не вывихнула ноги.

За фурой ехала парой телега, на которой сидели еще две женщины, годные на все роли, и три актера в тулупах: благородный отец, злодей и машинист, исполнявший комические амплуа. Кругом этого шествия, по сторонам и среди, толпилось просто пешком еще несколько молодых людей, попавших на жалкое поприще странствующих актеров — кто от бедности, кто от пьянства, а двое из них и по любви к искусству. Молодость везде страдает каким-то беспокойством, всегда увлекается самыми грубыми обманами и, по недостатку других искушений, находит даже какое-то обманчивое очарование в ободранной сцене провинциального театра. Но укорять ее в заблуждениях не следует. Этому-то беспокойству, этому юношескому волнению мы обязаны тем, что люди даровитые не погибают в тени, а выходят наружу, образуются, совершенствуются и делаются наконец достоянием народной славы.

И в этом обществе бродяг находился тогда человек, молодой еще, но уже далеко обогнавший всех своих товарищей. В душе его уже глубоко заронилась любовь к истинному искусству, без фарсов и шарлатанства; и уже тогда предчувствовал он, как высоко признание художника, когда он точным изображением природы не только стремится к исправлению людей, что мало кому удастся, но очищает их вкус, облагораживает их понятия и заставляет понимать истину в искусстве и прекрасное в истине. Весело, беспечно шла себе молодая гурьба, попрыгивая, посвистывая, меняясь шутками, затверживая роли, напевая куплеты, перекидываясь камешками. Солнце садилось, когда странная процессия торжественно вступила в город Темнев, ровно за два дня перед началом ярмарки и открытия театра.

Через два дня супруга городничего Глафира Кировна стояла как-то по-домашнему, в кацавеечке и папильотках, у окна своего и посматривала на обыкновенный беспорядок начинавшегося базара. По улице тащились обозы, кибитки с бородатыми купцами, несли доски, суетились рабочие люди. Глафира Кировна, не избалованная столичными прихотями, глядела на все это с большим удовольствием и немалым вниманием.

Ярмарочное время как-то льстило ее самолюбию. Она была уверена, что город некоторым образом находился под ее начальством и как бы составлял часть ее собственности. Дочь небогатого соседнего помещика, она вдруг из робкой девочки сделалась властительной барыней, требующей надменно должного сану ее почтения.

В соборе становилась она на первом месте и жаловалась со слезами мужу, когда кто-нибудь осмеливался на улице не снять перед ней шапки. Глафира Кировна любила и подарки, не те полновесные, которые отсчитывались у мужа в кабинете, а всякие модные безделки, шляпки, гребеночки, флакончики и прочий женский вздор. Откупщик и голова не забывали в праздничные дни подносить ей неизбежный свой оброк, в награждение чего удостоивались приглашения к обеду. Городничий был радушный хозяин, мастер жить и большой хлебосол.

Глафира Кировна стояла у окна, поглядывала, посматривала и вдруг вскрикнула от удивления и восторга: на тротуаре против ее дома шла молодая женщина, довольно развязная и одетая хотя вычурно, но не совсем без вкуса. Впрочем, Глафира Кировна, по неодолимому женскому чувству, окинула наряд ее с ног до головы только самым беглым взором. Все внимание Глафиры Кировны было обращено к прелестной собачонке, которую молодая женщина вела на длинной розовой ленте.

Никогда Глафира Кировна подобной собачки не видывала: собою крошечная, шерсть до пола, морда — загляденье, хвост — чудо, словом — прелесть!

«Да это, кажется, Поченовская, — подумала Глафира Кировна. — Эге, как начала важничать! Надо отнять у нее собачку. Непременно скажу мужу. Этакую собачку можно иметь разве мне, а простой актерке вовсе неприлично».

В эту минуту парные дрожки остановились у подъезда, и городничий в полной форме вошел в комнату. Он ездил являться к чиновнику, присланному из губернского города для наблюдения за ярмаркой, и казался довольно расстроенным.

Не успел он войти, как жена его бросилась ему на шею.

— Феденька, любишь ли ты меня?

— Полно, матушка, что за вздор такой!

— Феденька, любишь ли ты меня?

— Да что с тобою, мать моя?

— Милочка, душенька, любишь ли ты меня?

— Ну, известно, люблю. Что тебе надо?

— Ты видел собачку?

— Какую собачку?

— Вот сейчас прошла Поченовская. Так важничает, что ни на что не похоже. Вообрази, ведет она собачку...

— Ну так что ж?

— Нет, что за собачка — представить нельзя! Я и во сне такой не видывала. Вся, кажется, в кулак — совершенно амурчик.

— Ну...

— Феденька, ты не хочешь, чтоб я умерла?

— Да что за вздор такой!

— Феденька, подари мне эту собачку, а то, право, умру. Жить без нее не могу... умру, умру! Дети останутся сиротами...

При этой мысли Глафира Кировна заплакала.

— Э, матушка, — сказал, пожимая плечами, городничий, — давно бы ты сказала. Мне, право, не до пустяков теперь. Чиновник-то себе на уме; с ним не легко будет сладить. Ну да бог милостив, и не таких видали. А о собачке ты, матушка, не беспокойся. Я думал, бог знает что случилось. Просто скажу два слова Поченовскому — он мне старый приятель, — и не заикнется даже; принесут тебе собачку. Да вот что: прикажи-ка подать сюртук да рюмку полынного. У начальника дрожь пробрала.

— Сердитый, что ли? — с заботливостью спросила жена.

— И, матушка! До поры до времени все они сердитые. Иной просто конь, так и ржет и лягает — подойти страшно; а потом пообладится, смотришь, как шелковый, так в езде хорош, что лучшего не надо. Главное только, с какой стороны подойти. Ну да прощай, матушка. Надо взглянуть в лавки: что за товар привезли? Ты в театр пойдешь вечером?

— Не могу, Федор Иваныч: душа неспокойна. Пока эта собачка будет у актерки, никуда не пойду, а в особенности в театр. Ты смотри, она еще ломаться станет, точно чиновная какая-нибудь, наша сестра. Уж такая амбиционка, что из рук вон, смотреть гадко! Ты один

ступай в театр, а я не пойду ни за какие сокровища, просто не пойду. Что играют? — спросила она с любопытством.

— Дон-Жуана какого-то.

Городничиха немного задумалась.

— Нет, — сказала она решительно, — не пойду.

— Ну как хочешь, матушка, — хладнокровно отвечал ей муж.

После чего пошел в свой кабинет, переоделся, закусил и, сев снова на дрожки, отправился в ряды.

Теменевский городничий был в самом деле прекрасный человек. В полку, где он служил, его решительно все любили за кроткий нрав, за всегдашнюю веселость.

Он всегда слыл верным другом, хорошим начальником, почтительным подчиненным. Супруг внимательный, отец чадолюбивый, он любил жить в кругу своего семейства и занимался с истинной любовью воспитанием любезных детей своих. В отношениях своих по службе он никогда неправого дела не делал, больниц и острогов не обкрадывал, нищим помогал и если иногда и пользовался кое-какими доходами, то это совершалось вследствие особенных расчетов, а не притеснении. Никто не лишался из-за него своего насущного хлеба, никто не пролил слезы от его жестокосердия. Он был примерный городничий, и теменевские жители благословляли свою судьбу.

Когда он явился в ряды, купцы, завидевши его издали, кланялись ему в пояс, а он благосклонно с каждым разговаривал, иного расспрашивал про дела, другого трепал по плечу, третьего в шутку щипал за бороду, — словом, был мил и любезен, как только можно быть городничему. К тому ж в каждой лавке хвалил он что-нибудь с особым восхищением. В одной крупа казалась ему редкой доброты, в другой железный товар изумлял его своей прочностью; в одном месте ему кофе чрезвычайно нравился, в другом сахар приходился ему необыкновенно по вкусу. О красном товаре и говорить нечего: все решительно нравилось. При таковых похвалах купцы немного морщились, однако ж кланялись униженно, просили осчастливить распить тотчас бутылочку в лавке или удостоить пожаловать в дом на угощение. Но городничий отказывался, по принятому правилу, от угощения и продолжал себе гулять по рядам, расточая повсюду похвалы и отвечая милостиво на обе стороны почтительным поклонам и кудреватым приветствиям.

В эту минуту встретился он с Поченовским, который весело шел с репетиции. Картуз его едва держался на затылке: билеты для вечернего спектакля были уже все разобраны.

— Э, брат Осип! — закричал городничий.

Надо заметить, что Федор Иванович, исключая свои прочие качества, был любителем искусств и охотником до литературы. Театру покровительствовал он в особенности, нередко угощал у себя режиссеров и даже, забыв начальническую важность, называл просто немца Адамычем, а поляка — Осипом.

— Эй, Осип! — закричал он. — Старый дружище! Откуда?

Осип поклонился с видом почтительной дружбы.

— С репетиции, ваше высокоблагородие.

— Хорошо, братец, хорошо! Ну, не нужно ли вам чего? Не прислать ли десятских из пожарной команды для балета? Не потребуется ли чего по части полиции?

— Покорнейше благодарим. Если изволите, попросим.

— Отчего же, братец? Рад помочь старому другу. Ты на меня жаловаться не можешь: кажется, хорошо вместе живем.

— От души чувствую.

— А сбор-то нынешний год будет, кажется, порядочный. Я этакой ярмарки не запомню.

— Дай бог.

— Хорошо, братец, хорошо! Радуюсь, радуюсь. Смотри же не оплошай вечерком. Ты играешь Дон-Жуана?

— Я-с.

— Ну, хорошо, брат! Посмотрим. Прощай, Осип.

— Прощайте, ваше высокоблагородие.

— Да бишь... Осип! Забыл совсем. Какая у тебя там собачка?

— Собачка-с?

— Да. Глафира моя Кировна увидала у жены твоей какую-то собачку — так ею и бредит. Пришли, пожалуйста.

Поченовский побледнел.

— Ваше высокоблагородие, требуйте чего хотите: душу отдам, а собачки невозможно.

Городничий нахмурился.

— Послушай, Осип, не советую, брат, тебе со мною ссориться. Мы, кажется, были до сих пор друзьями. Ты знаешь, я тебя люблю и готов всегда помогать. Иногда бы и не следовало, да уж ты мой характер знаешь: не могу отказать приятелю.

— Чувствую, ваше высокоблагородие.

— А кажется, я ничего от тебя не требовал до сих пор, жил как с родным братом.

— Чувствую, ваше высокоблагородие.

— То-то же. А вот в первый раз попросил самого вздора — собачонки, так и невозможно.

— Ваше высокоблагородие, собачка-то не моя, жены моей. Я бы не только отдал ее, задушить готов. И что в ней? Предрянная. Да вы жену мою знаете. Собачка дрянь, лает все, мерзкая, кусается, поганая шельма. С ней не сладишь, с женой моей. Не отдаст, я ее знаю, не отдаст. Разве вы прикажете.

— Эх! Видно, ты баба, Осип, что с женою сладить не можешь.

— Ваше высокоблагородие, — продолжал плачевно Поченовский, — вам ведь известно: жена моя такого характера, что иной раз в петлю бы готов. Я и не смею сказать ей о собачке: глаза выцарапает. Посудите сами, ваше высокоблагородие, после и играть нельзя будет. Будьте милостивы, Федор Иваныч, прикажите сами: вам она отказать не посмеет.

— Хорошо, брат, хорошо, я ей уже скажу, да и ты постарайся; только изволишь видеть, мне

бы хотелось свою Глафиру собачонкой потешить.

С этими словами они разошлись.

Вечером происходило в мучном сарае торжественное открытие театра. Все места без исключения были заняты зрителями. Сбора было с лишком тысяча рублей. Губернский чиновник сидел с детьми в особой ложе, украшенной красным коленкором, на котором ярко отделялась золотая бумажная лира. Публика слушала с большим вниманием, может быть оттого, что темнота залы не позволяла ей заниматься посторонними предметами, а принуждала глядеть прямо на сцену. Все, однако ж, были очень довольны. Поченовский до того кричал и махал руками, что, несмотря на свое польское произношение, вынудил громкие рукоплесканья. Представление вообще шло удачно. При самом только окончании случилось маленькое несчастье. Надо знать, что обыкновенно употребляемая декорация ада оказалась, по случаю проливных дождей, совершенно негодною, почему и была заменена дремучим лесом; для придачи же эффекта из облаков вылетала фурия, которая схватывала в объятия свои трепещущего Дон-Жуана и не ввергала его в преисподнюю, что как-то слишком обыкновенно, а увлекала его с собой на воздух. Механизм полета был самый несложный. На двух перекладных, на потолке, протянут был между двумя гвоздями толстый канат, к которому фурия была привязана. Здоровые молодцы, пользуясь за то правом смотреть на комедию из-за кулис даром, спускали помаленьку канат к полу. У Дон-Жуана приделана была сзади железная петля, а у фурии спереди железный крючок. При воплях и отчаянии безбожника она должна была искусно вдеть крючок в петлю и, по объясненному способу, вдруг подняться, к ужасу зрителей, с жертвой своей прямо к потолку. К сожалению, успех не увенчал предприятия. Во-первых, роль фурии исправлял какой-то трусливый актер, который, чтоб внушить себе более бодрости, выпил не в меру и, сидя на перекладине, опьянел совершенно; во-вторых, или веревка отсырела, или гвозди были дурно прибиты, только фурия не ринулась стремглав, как молниеносная кара, а начала спускаться, кружась по сцене совершенным коршуном. Сперва показались ее красные сапоги, потом ее пестрое платье и страшная ее рожа с ужасным париком, над которым старый парикмахер трудился с любовью целый день. Страшная эта фигура, барахтаясь телом во все стороны, вертелась, как волчок, около пяти минут и наконец, достигнув с трудом пола, стояла бледная, испуганная, выпучив глаза, одурев совершенно.

Напрасно Дон-Жуан ревел диким зверем, напрасно указывал он судорожно за спиною на роковую петлю: фурия, утомленная собственной пыткой, не шевелилась с места. Страшный грешник побежал наконец навстречу к своему наказанию, тщетно пятился спиною, тщетно подтопывал, чтоб как-нибудь попасть на крючок, фурия также подтопывала, также припрыгивала, пошатываясь со стороны на сторону, — тщетно: крючок не цеплялся!

Долго продолжалась эта непредвиденная сцена. Наконец, так как фурия все еще была не в себе и отказалась, как было видно, от страшного своего призванья, занавес опустился, и порок остался ненаказанным. Само собою разумеется, что по спущении занавеса драма превратилась в балет. Дон-Жуан сбросил с фурии парик и, схватив ее за собственные волосы, мгновенно вывел ее из оцепенения. Впрочем, теменевская публика не гонялась, видно, за мелочами, а, выходя из театра, хвалила сильный голос актера и громко рассуждала о завтрашнем спектакле.

Городничий, с своей стороны, отправился за кулисы поздравить игравших с успехом и сбором, а между тем напомнить и о собачке. Но тут он встретил такое сопротивление, какого вовсе не ожидал. При предложении его Поченовская вся изменилась в лице и решительно объявила, что она ни за что в мире собачки своей не отдаст.

— Да муж ваш обещал, — прилгнул городничий.

— Так возьмите ж мужа! — вспльчиво отвечала Поченовская. — О нем я уж, верно, плакать

не стану, а собачки моей вам не видать, как ушей своих. Она мой единственный друг, мое утешение, моя радость; я и живу только для нее; я умру, умру без нее! Мы вам не слуги. Вы не смеете нам приказывать. Вот еще что выдумали! Не отдам Амишки, скорей милостыню стану просить, а не отдам! Не отдам! Не отдам!

Голос примадонны дошел до самого пискливого дисканта, а городничий, немного обиженный неожиданной дерзостью и таким отсутствием всякого приличия и повиновения, обратился к остолбеневшему Дон-Жуану:

— Послушай, брат Осип, мне не по чину, да и некогда, правда, перегрызывать с твоей барыней. Это твое уж дело. Уломай ее как тебе угодно. Ты меня знаешь: я человек добрый; но из терпенья всякий выйдет. Сделай одолжение, любезный, не заставь меня поступить с тобой не по-дружески. Ведь ты меня к этому принудишь. Мне уж давно надо сделать пример. Сам не рад, а делать нечего. Пожалуйста, братец, не принуждай меня пример этот именно над тобою сделать. Эх, брат!

Вот, ей-богу, не хотелось бы с старым приятелем ссориться. Слушай же меня: выпроси у жены собачку, выпроси непременно. Каким образом — сам знаешь. Побей, если хочешь, это дело супружеское, для того ты и муж, только чтоб завтра в семь часов утром собачка была у меня — слышишь ли? Не будет — так уж пеняй на себя, сам будешь виноват. Я тебя предварял по-дружески.

Тронутый таким добродушием, Поченовский с трепетом обещался употребить все старания, чтоб выманить от жены предмет угрожающего раздора. Городничий потрепал его по плечу, пожелал от души успеха и отправился домой, откуда немедленно послал пригласить к себе на чай уездного архитектора.

Поченовский отправился, скрепясь сердцем, уговаривать жену; но жена была уж приготовлена. Во-первых, собачка была запрятана где-то в надежном месте, под замком, во-вторых, как только оробевший супруг заикнулся об Амишке, она угостила его таким криком, осыпала такими ругательствами, что бедный режиссер не знал куда деваться. В довершение бросила она ему в лицо все, что ни попало ей под руку, вылила на него целый рукомойник воды, вытолкала за двери и заперлась двойным замком. Злополучный Дон-Жуан, изгнанный из собственного жилища, пошел в трактирное заведение, где пропил целую ночь, а к утру, отчаянный и пьяный, заснул под лавкой.

На другой день утром, в семь часов, городничий пил кофе и курил трубку.

— Эй, малый! — закричал он.

Вошел малый в три аршина.

— Приходили от Поченовского?

Малый заревел басом:

— Никак нет, ваше высокоблагородие.

— Приносили собачку?

— Никак нет, ваше высокоблагородие.

— Ну, нечего делать, — продолжал, пожимая плечами, Федор Иванович, — сам виноват; а кажется, говорил ему по-дружески. Позвать сюда писаря!

Явился писарь с пером за ухом.

Городничий посадил его к столу, дал лист бумаги и приказал писать рапорт следующего содержания:

«Г-ну главному чиновнику, надзирающему за ярмаркой.

Прилагая неусыпное старание к обозрению всех частей и составов вверенного мне города, не щадя сил своих и здоровья, а священным долгом поставляя себе усиливать наблюдение свое в многолюдное время ярмарочного сбора, ибо небезызвестно вашему высокородию, что при большом стечении народа могут возникнуть такие случаи, от которых ужасается человечество и страждут невинные жертвы, и, кроме того, могут нанести обидные о нерадении полиции толки и слухи; во избежание чего, донося подробно вашему высокородию о всех случившихся в городе происшествиях, долгом поставляю присовокупить, что вчерашнего числа вечером замечено мной, что сарай, в котором назначены на нынешний год увеселительные представления труппы гг. Шрейна и Поченовского, пришел в такую ветхость, что ежеминутно угрожает паденьем, могущим лишить жизни мгновенным убийством посещающих театр зрителей; а как мне известно заботливое попечение вашего высокородия о благе народном и в то же время для ограждения своей ответственности и по долгу службы моей, почтительнейше имею честь донести вашему высокородию об оном сделанном мною замечании, испрашивая милостивого вашего разрешения: не благоугодно ли будет приказать вышеозначенный сарай запечатать и дальнейшие представления, весьма, впрочем, в деле своем искусных и похвальных комедиантов, прекратить для избежания могущих быть несчастий и для охранения, по мере возможности, жителей вверенного мне города».

Рапорт запечатан и отправлен по принадлежности.

Надо отдать справедливость Федору Ивановичу, что он при таком решительном поступке был немного расстроен и выкурил свою вторую трубку совершенно без удовольствия. Между тем писарь, который пользовался даровым местом в партере и нередко гулял с некоторыми второстепенными артистами по заведениям различного рода, ужаснулся угрожающей им беде. Недаром говорят, что истинные друзья узнаются в злополучии. Писарь бросился к другу своему, благородному отцу и большому пьянице. Благородный отец в ужасе побежал к Шрейну.

Отыскали Поченовского под лавкой — и загадка неслыханного гонения объяснилась. Как быть? Что делать?

Во что бы ни стало надо было отыскать средство, чтоб отклонить угрожающую гибель.

Закрытие театра не только лишало режиссеров ожидаемых барышей, но и целую, труппу — дневного пропитания. Читателю, может быть, неизвестно, какими скудными средствами существуют провинциальные театры и что значит для них ярмарочное время. Нередко из-за грязных кулис выглядывает безобразная нищета со всеми ее последствиями: с голодом, с болезнью, с безыменными мучениями. Нередко бедный актер истощает последние свои силы для забавы публики, чтоб достать кусок насущного хлеба, чтоб купить немного дров и согреть мерзнувшее семейство. Труппа Шрейна и Поченовского подлежала той же горькой участи, полагая все надежды свои о годовом существовании на сборы ярмарочного времени. А покамест все действующие лица были наняты в долг, костюмы, хотя и незавидные, были собраны кое-как также в долг, квартира была нанята также в долг, харчи отпускались также в долг. Все это, разумеется, во ожидании будущих благ, на счет грядущих доходов. И если театр запирался — долги оставались неоплатными, Дон-Жуан попадал в острог, любовницы, злодеи и комики должны были просить милостыню на большой дороге, чтоб не умереть голодной смертью.

Шрейн, однако ж, остался горд и важен, как бы ни в чем не бывало. Как человек законный: «Мой снает, — сказал он, — мой снает. Я буду шаловать нашалоству».

Надо знать, что Шрейн пользовался расположением губернского чиновника, потому что, по своему званию танцмейстера, учил детей его танцевать, и, разумеется, безвозмездно. Как сказано, так и сделано.

Губернский чиновник был человек надменный и весьма горячий. Узнав от Шрейна странную месть городничего, он до того стал кричать, что немец сам пугался.

— Я, — кричал он, — покажу ему, что значит шутить со мной! Да это мошенничество, разбой! Помилуйте... грабеж, настоящий грабеж! Он меня еще не знает. Я упеку его туда, куда ворон костей не заносил. Под суд нынче же отдам. Я его уничтожу. Лоб ему, мошеннику, забрею. Его мало в Сибирь, на каторгу его сошлю. Уж будет он меня помнить. Что ж он, в самом деле, думает, что он барин здесь. Я уж выбью из него спесь, я уж с ним разделаюсь, я уж его...

Шрейну при таком страшном гневе стало жаль городничего. Как ни говори, человек хороший, с семейством, Неужели идти ему в каторгу из-за собачонки.

Добрый немец вздумал было уже просить за неге пощады.

— Нет! — кричал чиновник. — Уж теперь он в моих руках, уж не уйдет теперь, не вырвется, голубчик. Теперь, брат, поздно. Я давно до него добираюсь. Что он думает, что я не знаю, где сумма на пожарную команду — а? А с каждой лавки что он берет — а? По красненькой — а? По беленькой?[5] А откупщик-то один — а? Что дает — а? А там обеды давать — а? Ужины, гостей угощать казенными деньгами — а? Вот посмотрим, как он теперь заживет! Послушайте, — продолжал он грозно, обращаясь к секретарю, — сейчас же послать строжайшее предписание архитектору, чтоб он бросил все дела и сейчас же отправился освидетельствовать театр. Чтоб чрез два часа он представил мне рапорт; не то с вас взыщу — слышите ли? А ты не жалея о негодяе, ему туда и дорога, — сказал он ласково Шрейну. — Ступай к детям, любезный. Спасибо тебе, что открыл мне неправо дело.

Шрейн чувствительно поблагодарил чиновника за горячее заступничество и отправился давать свой урок.

Во время урока он, по обыкновению, был важен, сгибал колени, вытягивал ноги, иногда припрыгивал, но не изменял никогда своего сурового вида.

Заплатив, таким образом, долг благодарности, Шрейн отправился на репетицию, так как вечером он должен был танцевать грациозный *pas de deux*[6], а потом плясать по-цыгански, что, как известно, очень нравится у нас некоторому сословию людей. У мучного сарая толпился народ. Шрейн подошел поближе — и как изобразить его ужас! Среди толпы собравшихся у входа комедиантов уездный архитектор флегматически припечатывал двери театра огромною казенною печатью. Вокруг него раздавался глухой ропот негодования. Испанская королева, положив руку на ладонь, плакала навзрыд, приговаривая разные похоронные изречения. Старый парикмахер заботливо укладывал в коробках выброшенные из сарая парики. Поченовский, с картузом на носу и скрестив на груди руки, ходил длинными шагами взад и вперед. Прочие, пораженные и бледные, стояли в разных кучках и говорили шепотом между собой.

Архитектор, не обращая внимания на общее отчаяние, хладнокровно окончил свое дело и отправился донести начальнику, что сделанное городничим донесение совершенно основательно, что театр еще может к вечеру обрушиться и что потому, для избежания страшного несчастья, он принял уже надлежащие меры и строение запечатал по обязанности своей службы.

Когда он ушел, между актерами началось совещание: что делать? Думали, толковали, жаловались, сердились.

Шрейн бросился было снова к чиновнику, но чиновник был занят важными делами и никого не велел принимать, а между тем у кассы толпились охотники, требующие билетов для вечернего спектакля. Как быть? По долгим прениям решено следующее: объявлять на требования билетов, что билеты только будут готовы через два часа и потому в настоящую минуту не раздаются; приставить сторожа прямо спиной к роковой печати, чтоб не разнесся по городу слух о случившемся происшествии; наконец, идти Поченовскому с повинной головой к городничему и просить помилования.

Федор Иванович, как видно было, ожидал этого визита. Когда Поченовский, расстроенный и бледный, ввалился к нему в комнату, он только покачал головой.

— Что, брат Осип? Говорил я тебе...

— Ваше высокоблагородие, да вы нас губите.

— Знаю.

— Да ведь мы целый год этой ярмаркой живем. Все у нас в долг забрато. Чем нам теперь заплатить?

— Знаю.

— Да вы нас нищими хотите сделать.

— А кто виноват? Просил я тебя не заставляя мне делать над тобою примера.

— Взмилуйтесь, Федор Иваныч.

— Нет, жаловаться ступай.

— Не я, Федор Иваныч, не я, я не виноват, я ваш старый приятель. Немец проклятый ходил.

— Ну и проси своего немца.

— Ваше высокоблагородие, что мне делать? Ну, просто застрелюсь.

— То-то, брат, потише теперь. А что взял? А?

— Федор Иваныч, так и быть украду собачонку и принесу вам, простите только.

— Нет, брат, теперь другая история, теперь собачкой не отделаешься.

— Что ж прикажете?

— Послушай, Осип, — сказал более благосклонно городничий, — я тебя люблю, ты знаешь, мне жаль тебя. Я бы и простил тебе, да теперь время такое, не могу, сам видишь, не могу: что станут в народе говорить? Пример будет дурной, послабление. Нельзя, брат, право нельзя. Пеняй на себя, попался сам; не послушал приятеля — самому больно. Кажется, заплакал бы, а делать нечего: пример нужен. Не взыщи уж, любезный, теперь. Вот мои последние условия: пятьсот рублей мне, триста рублей архитектору, жене шаль в триста рублей, да и собачку.

— Как!.. — воскликнул Поченовский.

— Да так. Право, не дорого. Другой бы содрал с вас втрое дороже, да уж ты мой характер знаешь: не, могу не уважить старого друга. Эй, брат, теперь-то послушайся меня, не то худо будет! Я говорю тебе как друг.

Принесешь деньги — сейчас же открою театр, не принесешь — так и всю ярмарку не будете играть, — пеняй на себя. Тысяча рублей теперь небольшие для вас деньги: в один вечер соберете. Послушайся приятельского совета, Осип, не теряй времени. Ступай за деньгами — сейчас же открою театр.

— Да как вам это можно сделать? — спросил Поченовский. — Ведь театр запечатан.

— Уж это не твое, братец, дело. Я человек честный, дам слово, так сдержу, будь покоен, одолжу. Только, братец, ты и обо мне подумай: ведь не жалованьем же жить. Небось узнают в народе и станут говорить: уж когда Федор Иванович с приятелем так поступил, так что ж он с нами станет делать? Понимаешь ли? А мне того-то и надо; вот зачем и пример-то мне нужен. А то бы, право, простил.

— Да господин чиновник... — робко вымолвил Осип.

Городничий улыбнулся.

— Об этом тоже, брат, не беспокойся. Велик гнев, велика и милость. А ты мне денежки давай скорей.

Поченовский подумал, подумал, повертелся на стуле, видит, что дело решено, встал с места, поклонился и вышел.

— Не забудь собачки! — закричал ему вслед городничий.

Между тем толпа актеров все дожидалась с беспокойством у театра. Рослый сторож стоял как истукан в своем месте. Все ожидало с трепетом. Наконец появился Поченовский из-за опущенного картуза. Но когда он объявил неслыханное требование градоначальника, общее уныние обратилось в общее отчаяние. Шрейн вздумал было противиться. «Мой, — кричал он, — покажет мой его!..» Поченовский покачал головой: он лучше понимал жизнь.

Воля Федора Ивановича непреклонна, как судьба. Он уж знает, что он делает. А печать тут, хоть и за спиной сторожа, а никакая сила не оторвет ее без городничего.

Испуганные актеры убедились в грустной истине и настоятельно приступали к своим режиссерам, чтоб они пожертвовали вчерашним сбором. И точно, ничего более не оставалось делать. Единственная тысяча, хранившаяся целую ночь в удивленной кассе, вынута со вздохом и едва ли не со слезами. Отправились купить шаль, причем выторговали десять целковых в ущерб Глафиры Кировны, потом в один пакет положили триста рублей, в другой пятьсот. Но всего этого было еще мало: надо было достать еще собачку — главную причину разразившегося бедствия.

Историческая точность требует от меня сознания, что Поченовский отправился в ряды, купил два чубука надлежащей толщины и уж только с этим вооружением возвратился скрепя сердце на свою квартиру.

Теперь перо выпадает из рук, решительно отказываясь начертать гнусную картину супружеских увещаний. Довольно того, что увещания продолжались более двух часов и что по окончании оных чубуки были в дребезгах, примадонна лежала в обмороке, а режиссер с исцарапанным лицом, с растерзанным платьем и даже вовсе без картуза выбежал на улицу, судорожно стиснув в руках пищавшую собачку. Через полчаса требуемая городничим дань была ему доставлена, а через час с небольшим в кассе выдавались билеты, до того истертые и грязные, что трудно было определить, как и где их приготавливали. Театр был открыт.

Вот каким образом: уездный архитектор представил начальнику второй рапорт, в дополнение к первому.

В первом было сказано, что театр угрожает немедленным разрушением, а во втором — что наука предлагает средства к предохранению подобных случаев. А потому, зная любовь господина губернского чиновника к искусствам и попечение его о благе общем, он, архитектор, не теряя времени, немедленно приступил к починке театрального здания, установив в нем надежные контрфорсы и стропилы, так что в настоящем виде не представляет оно более никакой опасности, и потому объявленные уже представления могут быть дозволены.

Исполнив обязанность службы и приличия, господин архитектор отправился в театр, оттолкнув сторожа, сорвал печать, важно вколотил где-то два гвоздя и торжественно объявил, что сарай не только не подлежит никакой опасности, но что он выстроен из такого удивительного леса, что он в этом виде еще десять лет простоять может.

Вечером театр был снова полнехонек. Объявленный спектакль удался совершенно, и никакого несчастья не воспоследовало. Молодой человек, о котором упомянуто в начале сего рассказа, как-то странно вдохновился всем тем, что он видел в течение целого дня. Он играл комическую роль приказного! И играл с таким одушевлением, выразил с такой истиной смешную безнравственность его понятий, что зрители смеялись целый вечер до упаду, а разошлись, однако, с чувством какой-то глубокой грусти, тяжкого негодования. *Pas de deux* и цыганская пляска возбудили тоже немалое удовольствие. Только то не понравилось публике, что на чертах плясуна не изображалась неизбежная приятная улыбка. Шрейн никак не был в состоянии скрыть внутреннюю свою досаду и танцевал вприсядку с самой ожесточенной физиономией.

По окончании спектакля городничий пригласил режиссеров и молодого отличившегося художника к себе на ужин и мировую. Один Шрейн отказался довольно грубо и сердито пошел домой. Поченовский же подумал в себе: «Деньги отданы, отчего же и не поужинать?»

Осип Викентьевич был человек не злопамятный, он согласился на зов и повлек молодого художника с собой.

Ужин был великолепный. Федор Иванович задал пир на славу, уж хотел себя показать. Глафира Кировна, вся в локонах, разодетая в пух, нянчилась с своей собачкой, называла ее купидончиком, купидошкой, кормила ее сладостями и была в полном восторге. Вероломная собачонка, казалось, совершенно забыла свою прежнюю владительницу и не хуже просителя подслуживалась к городничихе. Было несколько гостей, стряпчий, архитектор и другие городские сановники. Сели за стол, и начали обносить кушанья и напитки. Подали рыбу в полтора аршина и sprыснули ее мадерой или, как сказал стряпчий, любитель музыки: *allegro moderate*[7]. Подали соус — и запили его сотерничком, подали жаркое — и начались тосты. Шампанское так и лилось рекой. Пили за здоровье городничего, потом за здоровье Глафиры Кировны, которая не выпускала и во время ужина собачки из рук.

Пили за здоровье всех присутствующих и отсутствующих друзей, пили за тайную мысль каждого, за здоровье любезной в частности и прекрасного пола вообще, пили за благоденствие театра, за процветание его на многие веки.

При этом возгласе городничий распростер объятия — и Поченовский, красный как клюква, бросился с чувством к нему на шею. Оба были сильно растроганы, а у городничего даже слезы навернулись на глазах.

— Осип, — сказал он печально, — не грешно ли тебе, до чего довел ты меня. Побойся бога. Ты с старым другом поступил как с злодеем каким-нибудь. Не ожидал я, брат, этого от тебя. Ведь ты принудил меня над тобою пример сделать. Войди и в мое, братец, положение. Не пожалел ты обо мне. Право, и мне не легко. Вот так бы хотел помочь, да нельзя, сам видишь — нельзя было. Грешно тебе, Осип! Дурно, брат, нехорошо!

— Виноват, ваше высокоблагородие, — вымолвил Поченовский.

— Я не сержусь на тебя, — продолжал городничий, — я это говорю из любви к тебе. Запомни мой совет, не надейся на других и кончай сам всякое недоразуменье.

Вот, например, у тебя дело с городовым, с городовым и кончай — это тебе будет стоить синюю ассигнацию и два стакана пуншу. Не захочешь, пойдешь к частному, там уж подавай беленькую да ставь шампанское. Выше пойдешь — там уж пахнет сотнями, а дело все-таки кончит тот же городовой, и все за ту же синюху да за два стакана пуншу. Так уж лучше ты и кончай с ним. Поверь мне, братец, я друг твой и желаю тебе добра. Вот не послушался ты меня — и сам теперь не рад, и меня, приятеля, старого друга, принудил поступить строго. Забыл старую дружбу, разогорчил, обидел, сокрушил совершенно!..

Голос Федора Ивановича сделался до того жалостен, что Поченовский, проникнутый чувством своей виновности, не знал даже, как извиняться. Молодой художник был принужден за него вступиться.

— Все это правда, ваше высокоблагородие, — сказал он робко, — да наказание-с-то, кажется, строгонько.

— Эх ты, молодой человек, молодой человек, — продолжал, пожимая плечами, городничий, — мало ты, видно, жил на свете. Ведь я, братец, человек семейный, дети, жена — это чего стоит? Мое дело, известно, незавидное; придет недобрый час, и попал под суд, а там и след простыл, да у детей-то кусок хлеба, у жены деревенька, где она может жить по своему дворянскому званию, — так поневоле тут лучшего друга прижмешь. Не все быть беленьким, поневоле сделаешься и черненьким, а нельзя без этого. Вот, изволишь ты видеть, вчера прошелся я по рядам, похвалил то и другое. Купцы, бестии, кланяются да только бороду поглаживают, а небось узнали нынче, какой я над Осипом пример сделал, так изволь-ка на окно взглянуть, — вот оно, что я похвалил вчера... так и стоит рядком.

Молодой человек взглянул на окна: на них действительно была навалена целая громада кульков, свертков, товару всякого вида и объема.

— А что бы ты на то сказал, — продолжал городничий, наклонясь на ухо к своему собеседнику, — если и сам-то я иначе делать не мог, если б с ярмарки-то надо было мне самому поднести господину губернскому чиновнику пятнадцать тысяч рублей, — ты мне их, что ли, дашь?.. а?..

Молодой человек взглянул на городничего с удивлением и ужасом.

Вот какие еще бывали на святой Руси случаи сорок лет назад!

Примечания

События, описанные в рассказе, произошли в августе 1816 года в Харькове. Содержателями харьковского театра были И. Ф. Штейн и О. И. Калиновский; харьковский полицеймейстер — Эрк. Прототипом молодого артиста является М. С. Щепкин. (Подробнее см. «Записки актера Щепкина» — В кн.: Щепкин М. С. Записки. Письма. Современники о М. С. Щепкине. М... 1952, с. 16–20.; Т. С. Гриц. М. С. Щепкин. Летопись жизни и творчества. М... 1966, с. 40–42.)

2

Ремонтёр — офицер, занятый закупкой лошадей для армии.

3

...

землетрясение Лиссабона и долину Шамуни . — Катастрофическое землетрясение в Лиссабоне (столица Португалии) произошло 1 ноября 1755 года.; долина Шамуни — живописная долина в Альпах (Франция).

4

Фридрих II Великий (1712–1786) — прусский король (с 1740).

5

Красненькая — 10 рублей ассигнациями, беленькая — 25 рублей, синяя ассигнация — 5 рублей.

6

Па-де-де (фр .)

7

Умеренно скоро (
итал .)